Мы зашли в деревню перед самым рассветом, когда тьма становится густой и маслянистой, словно деготь, и поначалу не признали в этих серых ошметках жилье — лишь осколки, костяки изб, вросшие в землю по самые застрехи. Над поляной, где когда-то жизнь кипела, ныне стоял плотный, неподвижный и мертвенно-холодный туман, такой тяжелый, что он не разлетался от шагов, а нехотя расступался, обволакивая сапоги липкой изморозью.
— Слышь, Ратибор, не суйся вглубь, — шепнул я, и сам не узнал своего голоса, до того он стал сухим и ломким, как пережженная кость. — Ты глянь, туман-то не от сырости, он будто из самой земли выдыхается, жирный такой, в горле комом встает. Мне аж жутко стало, нутром чую — не жильем тут пахнет, а чистою смертью, причем такою старой и злою, что аж зубы ломит. Оглянись на избы-то: они не просто гнилые, они будто выжжены изнутри, хоть и стоят остовы. Здесь воздух маслом мазан, гарью какой-то нечеловеческой несет, будто под нами не земля, а пепелище огромное, которое еще не остыло. Видишь, как переселенцы-то радуются? Идиоты, они ж не чуют, как под ногами земля чавкает, словно кровь пьет. Ратибор, тут каждый вздох — как глоток из чумной ямы, я матерью клянусь, тут не люди ушли, тут жизнь саму выкорчевали вместе с корнями. Мы в самое логово влезли, в то место, которое даже воеводские дьяки забыли на харатьях пометить, и я прямо кожей чувствую, как из этих черных провалов-подполий на нас чьи-то немигающие глаза смотрят.
— Слышь, Ратибор, держись ближе, в глаза им не заглядывай, пускай думают, что мы свои, такие же бедолаги за долей пришлые. Нам сейчас главное — не отсвечивать, в тени их крестов затеряться, пока Земля не признает в нас своих. Мы-то с тобой от Истинных не отошли, в кулаке обереги до хруста сжимаем, сердцами к Корням прикипели, а эти пускай лаются, пускай колья вбивают. Пока мы веру свою тайную в себе бережем, пока под рубахой кость дедову греем — Хозяйка нас не тронет, мимо пройдет, когда пахоту начнет. Смертью тут несет не для нас, а для тех, кто на картах это место зачеркнул. Мы здесь как иголки в стоге сена: пускай думают, что мы с ними в одной связке. Мы-то знаем, Кому на самом деле в этот рассвет поклонимся, когда туман кровью нальется. Главное — молчи и делай вид, что тоже креста боишься, а сам слушай, как под ногами предки ворочаются, нас узнают, своих кличут.
Пока эти горлопаны узлы развязывали да место под коновязь топчут, мы по-тихому, бочком, ушли за крайнюю избу, прижимая к груди то немногое приличное, что удалось сберечь: мешочек отборного зерна, чистое, как слеза, зерцало в оправе и горсть старого серебра. Нашли то самое место, где Курган плавно переходил в провал, и там, среди корней вывернутого дуба, разглядели истукана — серого, обветренного, почти ушедшего в землю по самые плечи, но всё еще грозного. Мы не стали причитать или кланяться напоказ: просто молча отсыпали зерно в пасть кумиру, зерцало положили так, чтобы оно небо мертвое отражало, и серебро в щель между камнями вогнали. «Прими, Хозяйка, — билось в голове, пока я ладонью прижимал сырой мох к камню. — Мы свои, мы корень помним, не по своей воле с этими христопродавцами притащились». И вот клянусь, Ратибор, как только подношение коснулось камня, туман у моих ног будто лизнул сапоги, ластясь, а идол, до того холодный, на миг стал теплым, как живое плечо. Теперь пускай строят, пускай кресты свои вбивают — мы свою десятину Земле отдали.
Но не успели мы руки от камня отнять, как из-за густого кустарника вынырнул этот пронырливый дьяк — глаза сучьи, вострые, всё высматривал, где бы крамолу найти. Он за спинами прокрался, выждал, пока мы всё выложим, и как заорет, клича гридней, что в охране при телегах терлись. Те налетели разом, тяжелыми сапогами по нашему

зерну, по святой земле; дьяк пальцем тычет, слюной брызжет, про бесовство да про идолопоклонство верещит. Гридни, рожи сытые, топорами поотмахивались, нас в грязь оттолкнули, а подношение наше — и зерцало чистое, и серебро — просто в овраг сапогами смахнули, даже подбирать не стали, побрезговали, мол, поганое оно. А потом началось самое черное: один вояка, здоровый, как боров, перехватил бердыш и с размаху обухом по лику истукана хряснул. Камень старый только крякнул, пошла трещина через всё чело, а дьяк еще и плюнул сверху, подзуживая: «Круши старье, ровняй с землей, пускай знают, чей теперь закон!» Идол под ударами повалился, в грязь лицом ушел, расколотый, опозоренный, а у меня внутри всё заледенело. Я видел, как из-под расколотого камня не пыль пошла, а густая, черная жижа, будто мы идолу жилу вскрыли, и туман вокруг нас в ту же секунду из белого стал багровым, как свежая рана. Посмотрели мы друг на друга, и понял я: зря они это, ох, зря. Теперь Хозяйка не просто пахать будет — она за этот поруганный лик из них жилы медленно вытягивать начнет.

На следующий день, едва хмурое солнце обозначилось за пеленой тумана, дьяк приказал гнать нас двоих к уцелевшим избам. Приставили к нам двух стрельцов с обнаженными бердышами — стеречь, чтоб не сбежали, а на деле пустить нас впереди себя. Замысел у них был гнилой: кабы в тех черных избах какая засада осталась, так пускай первыми полягут приверженцы старой веры, их не жалко, а стрельцы за нашими спинами уцелеют. Погнали нас осматривать то, что от деревни осталось, да только место это было не простое. В те поры Русь еще не была цельной, племена лесные друг на друга зубы точили, и деревню эту жгли не раз. Глянули мы в первую избу — а там костей до чертиков, и в подполах, и в самых стенах замурованы. Это были не свежие покойники, а старые, древние костяки еще тех Княжьих людей, что когда-то первыми сюда с огнем пришли, да тут и полегли, когда мор их вместе с племенем выкосил. Костям тем уже очень-очень много лет было, они мохом поросли, пожелтели, а иные и вовсе в труху превратились, но лежали они повсюду: под венцами срубов, в засыпке печей, под порогами. Куда ни ступи — под сапогом хрустит. Стрельцы-то наши молодые, они и не знали, что эта земля костями в три слоя уложена, что здесь одно пепелище на другое наслаивалось веками. Идем мы, а я чувствую, как эта древняя костяная труха под ногами шевелиться начинает, будто старая память просыпается. Эти скелеты в домах не просто лежали — они будто дома эти собой и держали, вросли в бревна, стали частью гнилого дерева. Ратибор на меня глянул, глаза расширил: он тоже понял, что мы не по земли идем, а по сплошному кладбищу, которое никто и никогда не поминал. И чем дальше мы вглубь руин заходили, тем больше этих «хозяев» на нас из углов пялилось — желтые черепа племенных воев и шлемы старых Княжьих людей, забитые землей и гарью. Остановились мы посреди этой костяной пашни, и холод такой пошел от стен, что дыхание колом встало. Обернулся я к стрельцам, глянул прямо в их побелевшие рожи и сказал, не таясь:

— Что ж вы, олухи, наделали? Вы хоть понимаете теперь, что здесь оставаться никак нельзя? Земля эта костями в три слоя уложена, здесь смерть на смерти сидит и гарью вековой дышит. Кабы вы вчера истукана не тронули, кабы алтарь не крушили, может, Хозяйка бы и стерпела, мимо прошла, простила бы вам ваше скудоумие. Но теперь всё, черта проведена. Мы-то с Ратибором знаем, что сдохнем, нам не впервой на краю

стоять, да и смерть за правду не так страшна. А вот вы... вам за содеянное в таких муках издыхать придется, что сами у земли просить будете, чтоб поскорее сожрала. Вы же жилу вскрыли, вы древнюю ярость разбудили, которой тысячи лет в этих костях тесно было.
У одного стрельца от моих слов бердыш в руках задрожал, а второй — молодой совсем, с глазами дикими, — не выдержал. Накатил на него животный, нутряной испуг, такой, что разум помутился. Вскрикнул он что-то нечленораздельное, будто зверь раненый, и с размаху, от одной лишь немочи своей и страха, ударил Ратибора обухом. Упал мой побратим на хрусткие кости предков, а я стою и вижу, как туман в избе из белого черным становится, и тени старых Княжьих людей в углах начинают медленно от стен отделяться, на запах свежей крови и человечьего страха слетаясь.
Стрелец тот, что Ратибора ударил, так и застыл с занесенным бердышом, мелко дрожа всем телом, но ничего ему в тот миг не сделалось. Дьяк же, увидав, что мы всё еще живы, велел приниматься за работу, да не простую, а самую черную. Решили они «уборку территории» затеять — очистить руины от древних костей, что повсюду белели, да захоронить их по-своему, по новой ветке, надеясь тем самым землю усмирить и закон свой утвердить. Погнали нас в самую гущу, в те места, где костяки старых Княжьих людей и лесных воев вросли в фундаменты. Велели нам эти «поджаренные косточки» из пепла выковыривать, в общие кучи сваливать да в новые ямы сносить, крестами наспех сбитыми помечая. И вот стоим мы, в пыли костяной по локоть, таскаем черепа тех, кто здесь веками тлел, а дьяк над душой стоит, кадилом машет, слова чужие бормочет, мнит, что переписать историю места вздумал. Не понимали они, скудоумные, что нельзя старое горе в новые ямы переложить и святым словом прикрыть то, что кровью и мором в саму твердь впиталось. Мы же с Ратибором кости те бережно в ладонях держали, шепча покаянные слова, ибо знали: эта попытка «захоронения по-новому» — лишь очередная обида для тех, кто в земле лежит.
Ближе к вечеру, когда мутное солнце окончательно утонуло в вязком тумане, переселенцы, вконец измотанные черной работой и костяной пылью, стали устраивать себе ночлег. Страх перед мертвыми избами пересилил нужду в тепле: никто не рискнул зайти под гнилые крыши, где из углов пялились пустые глазницы старых воев. Люди жались друг к другу прямо на голой земле, среди телег и скарба, разводя куцые костры из обломков, что не успели пропитаться гарью. На нас с Ратибором теперь и вовсе смотрели как на пустяшное место — на тех двоих «неверных», что под копыта попали, просто плевали, проходя мимо. Никто больше не заносил бердыша; нас оставили сидеть в грязи у края разрытой ямы, не считая уже за людей. Дьяк уполз в свою палатку, а стрельцы, выставив охрану, грели руки у огня, стараясь не смотреть в сторону оскверненного Кургана. Мы же сидели молча, чувствуя, как от земли начинает подниматься ровный, тяжелый гул.
Страх, густой и липкий, как могильная слизь, окончательно сковал нутро. Когда лагерь переселенцев окончательно провалился в тяжелое забытье, а костры начали захлебываться в навалившемся тумане, мы с Ратибором переглянулись без слов — поняли мы: Хозяйка пробудилась не для того, чтобы нас миловать, а чтобы выкосить всё живое. Уходили по-тихому, на карачках, вжимаясь в сырую грязь и не дыша; на тех, кто на нас плевал днем, мы даже не обернулись — не было в сердце ни жалости, ни злобы, только знание, что они уже мертвецы. Не прощаясь ни с Курганом, ни с расколотым идолом, мы скользнули в розовое марево тумана, чувствуя, как за спиной деревня окончательно растворяется в мертвой тишине. Мы уходили в другое место, прочь от этого «белого пятна», стараясь не слушать, как в руинах за нашей спиной

раздается первый, тонкий, похожий на детский плач звук — это вскрытая жила земли начала петь свою кровавую песню. Больше мы не были свидетелями, мы стали беглецами, зная наперед: этот запах гари и ровный гул развороченного Кургана будут преследовать нас до самой ямы.

Прошло без малого два месяца. Переселенцы, подгоняемые окриками дьяка и тяжелыми взглядами стрельцов, успели обстроиться: срубили семь приземистых изб из почерневшего леса и обнесли их куцым частоколом. Именно там, на месте расколотого кумира, с натугой возводили часовню — кособокую, тяжелую, из бревен, что за лето так и не просохли. Мужики за эти луны осунулись, кожа на лицах стала серой и шелушащейся, как береста, а глаза — пустыми, словно выжженные угли. Бабы и вовсе перестали за ограду выходить: шептались, что туман в лесу теперь не просто висит, а тянет к жилью костлявые пальцы, пахнущие старой гарью и мором.

Дьяк всё это время не умолкал, считая, что чем выше поднимется крест, тем скорее уйдет из этих мест тяжелый дух. Он заставлял закладывать венцы храма именно в ту жирную землю, которую считал логовом бесовским, не ведая, чья именно ярость там запечатана. Работа шла вязко: топоры тупились о мягкое дерево, а гвозди, что вгоняли в стены, к утру покрывались густой багровой ржавчиной, будто их всю ночь в крови держали. Как только срубы были обшиты и крыши окончательно сомкнулись, на поселение обрушились сны — тягучая, черная липкость, от которой люди просыпались со вкусом золы на губах. Каждая ночь теперь дышала страшными звуками, что просачивались сквозь свежую паклю: то слышался скрежет костей, то приглушенные, утробные голоса и отголоски тех, кто когда-то захлебывался в дыму этих мест.

Перед самым зимним сроком началось нечто странное и непостижимое: почти неделю кряду шел ливень. Ледяная, мутная вода обрушивалась с неба под грохот зимнего грома, который ворочался над головами, будто тяжелые валуны в бездне. Молнии вспыхивали зеленым, мертвецким светом, и было в этом зимнем громе что-то противное самой природе. Дьяк, ополоумев от страха, погнал мужиков на Курган — ставить крест, чтобы остановить знамения. Внутри храма спешно обшили алтарь новыми досками, пытаясь закрыть провал, откуда несло вековым тленом. Едва дьяк закончил молитву, в часовне воцарилась звенящая тишина. И в этой тишине раздался первый звук: сухой хруст сверху.

Тяжелый дубовый крест подломился у основания и пропорол дранку. Деревянная крыша, отяжелевшая от проклятой влаги, пошла прахом, складываясь внутрь, словно старый короб. Люди едва успели выкатиться наружу, прежде чем здание окончательно сдалось, уходя бревнами в жирную землю. Дьяк, чудом выскочивший из-под руин, не пал в покаянии — в нем вскипела ядовитая злоба. Он метался вокруг воронки, богохульствуя и проклиная и старых богов, и новых. На тех, кто строил избы, он наложил суровую кару, лишив их последних запасов еды, а того несчастного, кто ставил крест, объявил колдуном, что нарочно навел порчу. Стрельцы, ища виноватого в своем испуге, забили мужика до смерти обухами бердышей и скинули тело в руины.

Часовня поглотила жертву, и тишина, наступившая после казни, была страшнее грозы — это была тишина затаившегося зверя, который наконец получил то, чего ждал все эти месяцы.

Я вышла к ним из марева у старой гати, когда они совсем выбились из сил. Мои братья по крови, хоть и не по силе. Я чуяла их еще за версту — от них пахло старым камнем и тем самым зерном, что они по-тихому оставили у моего расколотого лика, пока дьяковы псы коновязь топтали. Если бы не то подношение, если бы не их ладони, гревшие мох на моем плече, они бы навеки остались в той костяной каше, которую я скоро начну перемешивать.
Я преградила им путь, соткавшись из сырой мглы. В глазах у них — смертная тоска, но я лишь коснулась их плеч своим холодом, давая понять: я — не враг.
— Не бойтесь, — голос мой шелестел, как сухой камыш на ветру. — Вы зерно отсыпали, вы зерцало не пожалели, когда другие в лицо мне плевали. Земля помнит верность так же крепко, как и обиду.
Я протянула им узелок, собранный не из людских запасов, а из того, что лес дает своим: сушеные коренья, хлеб темный да дикий мед. Еда тяжелая, с горчинкой, но от нее в жилах снова жизнь заиграет, а не страх могильный.
— Ступайте на закатное солнце, — я указала рукой туда, где сосны выше и небо светлее. — Там, за тремя ручьями, городище старое стоит. Земля там чистая, не паханая кровью, и жилье доброе. Дойдете до заката, если ноги в землю не зарывать будете. Там жить можно, там Корень еще держит небо.
Я увидела, как один из них дернулся, хотел обернуться назад, туда, где за спиной остался грохот рухнувшей церкви и беснование дьяка. Я перехватила этот взгляд, и глаза мои на миг стали черными, как та жижа под разбитым алтарем.
— Забудьте их, — отрезала я. — Нет там больше никого, о ком стоило бы тужить. Те, кто там остались — уже мертвецы, просто они еще дышат по привычке, пока я до них не дошла. Они — тупое стадо, что прется за каждым, кто орет громче всех и крестом машет, не чуя, как земля под ногами в пасть превращается. Я иду туда не миловать, а долги забирать.
Я шагнула назад, растворяясь в розовой дымке, и напоследок бросила им в спины:
— Идите и не оборачивайтесь. Тот, кто назад посмотрит, может ненароком увидеть то, что живому знать не положено. Прощайте, братья.

Из тумана я вышла, когда иней еще на воротах не стаял. Шла босая, несмотря на хрусткую изморозь под ногами, в одной холщовой рубахе; волосы спутанные, будто я в них всю ночь леших качала. Вид кроткий, глуповатый — девка лесная, дорогу в мареве потерявшая. Стрельцы, разомлевшие от вчерашней дьяковой солонины, разом к частоколу высыпали. Один из них, совсем молодой, с пушком над губой и глазами маслеными, сразу приосанился, бердыш поправил да клинья подбивать начал:
— Ого, откуда ж такую лесную ягоду к нашему шалашу прибило? Ты чьих будешь, краса? В лесу-то не холодно одной по сугробам шастать?
Я глаза долу опустила, губу закусила — дурочку из себя строю. Голос тихий, певучий, ровно ручей под льдом:
— Живу я там... В землянке у ручья. Матушка померла, батюшка не вернулся. Шла вот на огонек, думала, люди добрые обогреют, хлебушка дадут.
Молодой уже было за локоть меня потянуть хотел, да десятник, мужик тертый, прикрикнул:
— Стой! Знаем мы таких «лесных». Прежде чем в избу пускать, проверить надобно, не из тех ли она, что под Курганом шепчутся.

Выволокли они из развалин тот самый крест, что от часовни остался — погнутый, в грязи, но железный, тяжелый. Накинули мне на шею цепь с этим грузом, смотрят в оба: не зашиплю ли, не пойду ли дымом? Я же стою, глазом не веду. Взяла железку двумя пальцами, повертела туда-сюда, будто безделицу рыночную, да ехидно так на них глянула:
— И что дальше? — брови ехидно вскинула, поглядываю на них с издевкой. — Железка как железка. Холодная только, шею студит. Вы бы мне лучше платок дали, а то чего вы на меня железо вешаете? Это у вас тут мода такая в деревне — гостям кандалы на шею примерять?
Стрельцы переглянулись. Молодой и вовсе рот разинул — ожидали, что корчиться стану, а я стою да сарказмом их поливаю. Решили — наша, просто дикая, лесная. Десятник паренька осадил, чтоб не зарился, да велел вести меня в избу к вдове того бедолаги, которого они давеча в воронку снесли. «Там, — говорит, — бабьих рук не хватает, изба пустая наполовину, пускай по хозяйству шуршит».
Завели меня в избу на самом краю, у оврага. Внутри пахло застарелым горем и холодной печью. Вдова, почерневшая от слез и лишений, сидела в углу, даже головы не подняла. Как только за стрельцом лязгнул засов, я окинула избу взглядом — холодным, оценивающим.
— Ну что, тетка, — ехидно протянула я, подходя к печи. — Будем сидеть и выть, или всё же печь растопим? Слёзы твои огонь не раздуют и брюхо не набьют. Твоего мужика в яму кинули, а ты сидишь, ждешь, пока эти псы тебе кость обглоданную бросят? Вон, мужики твои припасы делят, а ты тут пыль глазами собираешь. Твоего-то, говорят, знатно «отблагодарили» за труды святые?
Я небрежно стянула с шеи железный крест и бросила его на лавку — звякнуло сухо, мертвенно. Присела на корточки у печного чела. Я не собиралась просить дров или огня. В руке моей оказалась склянка с густой «зеленкой».
— Смотри, как настоящая жизнь просыпается, — прошептала я, и в голосе моём послышался скрежет костей.
Я капнула всего пару капель маслянистой жижи прямо на холодные, отсыревшие дрова. В ту же секунду из печи пахнуло не дымом, а сырой землей и старой кровью. Огонь занялся мгновенно, пламя вспыхнуло болезненно-зеленоватым, жадным. Поленья затрещали так, будто в них ломались ребра. В этой избе стало тепло — тяжелым, липким теплом, что выгоняло мороз и заменяло его могильным жаром.
Вдова наконец подняла глаза, полные ужаса, и тут же метнулась к дверям, как пойманная мышь. Бежать хотела, выдать меня.
— Куда ж ты, родимая? — я перехватила её за подбородок, пальцы в кожу впила, к стене притиснула. — Рассказать им помыслила? Открыть, кто я? Да ты глянь на себя. Ты ж для них теперь — прах под сапогами. Тень от мужика, которого они ж в грязь и втоптали. Беги, кричи — потешаться только станут, пока зерно моё уплетать будут. А после решат, что ты с натуги умом тронулась, да привяжут к тому ж столбу, где их дьяк давеча инеем обставал.
Чую, как сердечко её колотится — часто-часто, да затихает. Рука моя к её шее скользнула, и влила я ей каплю той самой «зеленки» прямо в жилы. Вдовица обмякла, глаза её туманом подернулись, стали послушны воле моей.
— Смирно сиди. Ты теперь тень моя, трел верный. Молчать будешь да подносить, покуда я сама тебе рот открыть не велю. Негоже дело раньше срока палить — мне еще поглядеть охота, как деревня эта «праведная» сама себя изнутри выгрызет.
Я подошла к окну, глядя на Курган, где в сумерках чернела воронка.

— А ведь ежели бы вы, свиньи, по совести тут осели... Похоронили бы всех, кого из-под печей выгребли, поклонились бы земле этой, а не гадили в неё — всё бы у вас ладно вышло. Жили бы да хлеб жевали. Поступили бы как те двое, что ушли — те-то смекнули, что за жизнь платить надобно. А вы? Осквернили всё, нагадили, да порешили желез
кой сверху прикрыть.
Провела я пальцем ледяным по щеке вдовы, след оставляя.
— Теперь поздно. Жрите зерно своё, радуйтесь «милости». Пока сыты — вы спокойны. Да только кровь моя уже в мешках ваших бродит. И ты, вдовушка, первой узришь, как стадо это на убой пойдет за пастырем своим. Только в этот раз вести их буду я.

Настала ночь великой жатвы. Воздух в деревне стал таким густым, маслянистым и липким, что его можно было резать ножом, как кусок парного мяса, густо присыпанного могильной пылью и солью. Я сидела в избе вдовы, привалившись спиной к почерневшему, ледяному косяку, и сквозь полуприкрытые веки наблюдала, как мой новый трел возится у печи. В избе пахло застарелым потом, страхом и тем самым сладковатым душком, что исходит от сырой земли, когда её разворотили под свежую могилу.
Печь в ту ночь дышала мертвецким, фосфорическим светом, выхватывая из темноты острые скулы вдовы. Я заставила её растопить нутро теми самыми дровами, что мужики заготовили из священной рощи. Они не горели ясным пламенем — они шипели и плевались искрами, издавая звук, похожий на тихий скрежет зубов по металлу или хруст костей под тяжелым сапогом.
— Меси, — процедила я, когда она застыла над лоханью, роняя соленые слезы в муку. Вдова задрожала. Её разум, запертый в клетке моего внушения, бился, как пойманная птица о прутья, пытаясь докричаться до собственных рук. Она видела, как я достала склянку и вылила в тесто тягучую, иссиня-черную «зеленку», смешанную с каплями моей собственной крови. Тесто под её пальцами начало пульсировать. Оно вздувалось, ровно живое, больное брюхо, и испускало запах, от которого нутро выворачивало — смесь дикого, забродившего меда и старой крови.
Вдова попыталась отдернуть руки, пальцы её скрючились, побелели, но мои невидимые нити тянули её за сухожилия, заставляя вонзать кисти в липкую, хлюпающую массу. Она скулила, когда черные прожилки от теста начали впитываться ей под ногти, пробираясь к самому сердцу, отравляя её волю моей яростью.
— Твои соседи голодны, хозяйка. Они сожрали всё, что дала им эта земля, теперь пусть отведают то, что даю им я. Меси! Не смей жалеть сил, вкладывай в этот хлеб всю свою ненависть и всю свою боль от того, как они твоего мужика в яму кинули. Пусть он будет тяжелым, как каменная плита на их груди. Каждое движение твоих рук — это проклятие, каждая горсть муки — прах их надежд. Меси, покуда тесто не станет горячим, как их грехи!
Под моим немигающим взором она сформировала каравай. Высокий, румяный снаружи, но смертоносный и пульсирующий внутри. Когда хлеб был готов, я подозвала её к себе. Её пальцы были обожжены мертвым, зеленым пламенем, кожа на руках пошла серыми трупными пятнами, но она не смела даже плакать вслух — только беззвучно разевала рот, как выброшенная на лед рыба.
— Неси его к костру, — приказала я, поправляя на её голове платок так, будто провожала сестру на свадьбу. — Благодари за «защиту», кланяйся в пояс этим псам. И

помни: пока последний кусок не исчезнет в их жадных глотках — ты принадлежишь этой дороге.
Я видела через треснувшее окно, как она скользнула к большому костру, вокруг которого стрельцы обмывали припасы. Десятник первым завидел её тень. Он сидел на бревне, вытирая засаленный нож о штанину, а в глазах его плясали пьяные огоньки.
— О! Глядите-ка, братки, хозяйка наша созрела! — рявкнул он, и стрельцы загоготали, потирая ладони. — Что принесла, ягода? Небось, покойничек твой в закромах заначку оставил, а ты с нами поделиться решила?
Вдова, дрожа всем телом так, что зубы стучали, протянула каравай. Голос её был тихим, ровно шелест сухой травы над покойником:
— Кушайте, защитники... В благодарность это. За доброту вашу... за то, что не бросили в беде. Муж мой припас, а я вот испекла, чтобы силы у вас были порядок здесь держать.
Десятник выхватил хлеб, жадно принюхался.
— Запах-то какой... Сладкий, ровно девка в первую ночь. — Он отломил огромный кусок. Мякиш внутри был странного, сизоватого цвета, но аромат дурманил голову. Десятник вгрызся в него, чавкая и роняя крошки в бороду. — Хорош хлебушко! Слышь, малый, — толкнул он в бок молодого стрельца, — ешь давай, а то на лесных баб сил не хватит.
Молодой стрелец, скалясь и поглядывая в сторону моей избы, схватил свой кусок:
— Девки лесные — они дикие, их подкормить надо! Мы тут хозяева, нам всё по праву полагается — и хлеб этот, и бабы, и земля! Смотри, как тесто тянется, ровно жилы вражьи!
Они рвали каравай руками, пихали его в рты, давясь и хохоча, а я чувствовала через вдову, как «зеленка» впитывается в их слизистые, как невидимые споры ищут путь к их жилам, сплетаясь с их собственной гнилью.
К полуночи веселье сменилось натужным свистом в легких. В казарме началось то, ради чего я вернулась. Десятник попытался встать, но его ноги уже вросли в гнилые половицы. Из его широко раскрытого рта вырвался не крик, а толстый, мясистый корень, который мгновенно прошил небо и впился в балки. Его бердыш пустил ржавые побеги, которые пронзили ладонь насквозь и срастили кость с железом. Десятник покачивался на собственном корне, роняя на пол густую смолу, а из его ушей начали пробиваться нежные, белые побеги полыни.
Молодой стрелец превратился в слизистый куст. Его ребра разошлись в стороны с сухим хрустом, обнажая пустоту, где на месте сердца пульсировал бледный, жирный гриб. Вся казарма заполнилась серым туманом из спор, в котором плавали остатки человеческих хрипов. Одежда стрельцов истлевала, превращаясь в труху, а их плоть становилась твердой и серой, ровно кора старого осинника.
Дьяк в это время принимал свой «райский свет». Я послала ему Морок — самый страшный из всех. Ему снилось, что он стоит посреди бескрайнего поля из человеческих костей, и каждая кость начинает шептать его имя. Затем земля под ним ожила. Тысячи склизких, холодных жгутиков лесного корня начали лезть ему под ногти, в ноздри, заполнять уши. Он чувствовал, как они обвивают его позвоночник, высасывая молитвы и заменяя их могильной горечью.
В безумии он вскочил с лавки, сшибая иконы. Ему чудилось, что его собственная кожа — это чужой саван, в котором копошатся бесовские черви. Он схватил нож и начал исступленно срезать с себя плоть, плача и хрипя от ужаса.

— Очищение! Только огонь спасет! — вопил он, не открывая глаз, залитых кровавым потом.
В своем бреду он видел не старую печь, а сияющий алтарь, окутанный небесным пламенем. Он верил, что за этим огнем — прощение. Дьяк на обрубках пальцев дополз до печного чела и, скуля от боли, начал заталкивать себя внутрь, на раскаленные угли, которые я раздула своим ледяным дыханием. Шипение его жира на углях напоминало шепот тысяч проклятых душ. Он добровольно втиснулся в тесное, огненное нутро, захлебываясь собственным криком и псалмами, пока огонь не превратил его в скрюченную, обугленную головешку, навеки застывшую в позе мольбы среди пепла.
В первой избе мужикам почудилось, что стены начали сочиться густой, черной кровью, а из щелей полезли тонкие детские пальцы. Они видели в тенях тех, кого зарыли без креста, и тени начали их кусать. Обезумев от страха, мужики начали сдирать с себя кожу лоскутами, полагая, что под ней прячутся древесные демоны. К рассвету изба затихла, превратившись в хлев, где на полу дергались груды живого мяса, облепленного щепой.
Во второй избе бабы увидели в колыбелях не своих младенцев, а старых, сморщенных существ с беззубыми ртами, которые требовали крови. Морок застил им глаза: они схватили топоры, и сени огласились хрустом костей. Бабы рубили «упырей» с остервенением, пока пол не стал скользким от крови их собственных детей. Они застыли среди обрубков, баюкая окровавленные поленья и считая их спасенными душами.
В третьей и четвертой избах люди вообразили, что они — лишь плоды, которые должны созреть. Они методично вскрывали себе животы зазубренными ножами, вываливая внутренности на столы. Стеклянными глазами они смотрели, как их кишки дымятся на морозе, и аккуратно раскладывали их кругами, ровно праздничное угощение для лесных духов. Они ели свою собственную плоть, считая её священным причастием, покуда холод окончательно не забирал их жизни.
Дом строителя я запечатала особым словом. Я помнила, как горели те, кто был мне дорог, когда такие, как он, подносили факелы. В избе стало жарко. Невидимый огонь пожирал кислород, стены начали светиться багровым. Строителю и его семье снилось, что они заперты внутри огромного железного колокола, по которому бьют кувалдами. От этого звука у них лопались барабанные перепонки, а от жара кожа слезала чулком. Они не могли закричать — их легкие превратились в уголь при первом же вздохе. Я стояла снаружи, прислонившись к стене, и слушала, как внутри с тихим шорохом рушатся их надежды и кости, превращаясь в серый пепел.
Напоследок я вошла к предателям в шестой дом. Дверь поддалась легко — засовы у них от страха из рук валились. Они сидели в углу, обнявшись, и мелко дрожали, ожидая кары. А я прошла не спеша, на лавку у окна присела, ногу на ногу закинула и подбородок рукой подперла, глядя на них с ленивым, хищным любопытством.
— Ну что, притихли, верные? — голос мой по избе ровно ядовитый туман пополз. — Всё ждете, когда за вами придут?
Баба их в ноги мне пахнула, выть начала: «Бес попутал, матушка! Мы свои, исконные! Забери всё, только жизнь оставь!». Я на неё поглядела, как на гнилую плесень, да рукой махнула:
— Ладно, будет с вас. Вижу, натерпелись, глаза-то вон как из орбит лезут. Идите, забирайте своих выродков да вон из избы. Отпускаю я вас. Лес велик, может, и

сыщется в нем угол для таких, как вы. С миром идите, покуда я добрая и кровью не сытая.
У них в глазах надежда вспыхнула — жалкая, слюнявая. Мужик детей сгреб, баба к дверям попятилась, бормоча молитвы пополам с благодарностями. И вот тут, когда они уже за порог одной ногой ступили, я им в спины Морок и выдохнула.
Сама же на лавке осталась. Сижу, молча наблюдаю. Для бабы мир враз переменился: только что были дети — а стали твари лесные, с пастями вместо лиц, когтистые, жаждущие её плоти.
— Ах вы, твари лесные! — взвизгнула она, хватая тяжелый колун. — Не дамся! С миром вас обратно в землю вгоню, откуда вылезли!
Началась в сенях сеча лютая. Я сидела и смотрела, как она рубит своих в кровавое месиво. Железо с хрустом дробило черепа, кровь фонтанами брызгала на беленые стены, а я лишь пальцем по столешнице в такт ударам постукивала. Когда баба закончила и затих последний хрип, я сняла с неё печать. Она увидела куски мяса, бывшие её семьей, и завыла так, что само время в этой избе остановилось.
Я заставила её руки развернуть колун к собственному горлу. Она рычала, боролась, жилы на лбу вздулись ровно канаты, но лезвие с влажным звуком перерубило её шею. Она рухнула лицом в ту самую кашу, которую сама же и создала.
Я подошла к вдове. Её разум был стерт в пыль. Я сняла остатки печати, оставив в её зрачках вечный, незамутненный ужас.
— Пойдем, поглядишь на результат вашего свинского заселения. Видишь, как хорошо вы тут устроились?
Я протащила её мимо каждого дома, заставляя смотреть на гниль, грибы и смерть. Вдова хохотала жутким, сумасшедшим смехом, эхом отражаясь от черных елей. Я толкнула её в спину, отправляя по дороге в город:
— Неси им привет от Хозяйки! Пусть видят, что лес не забывает обид!
Когда она скрылась, я вылила последнюю «зеленку» в колодец. Исполинские жгуты корней вырвались из земли, круша избы, перемалывая человечину и дерево в единый перегной. Лес заглатывал это место с утробным урчанием. К рассвету на месте деревни стояла непролазная чаща, где деревья сплелись ветвями, ровно пальцы мертвецов. Я шагнула в туман, нагоняя вдову. Город ждал, и я уже чувствовала его запах — запах новой жатвы.